

18+

КИРИЛЛ МОШКОВ

# КРИВЫЕ ДОРОЖКИ

ПОВЕСТЬ О ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ



Кирилл Мошков

**Кривые дорожки. повесть  
о втором эшелоне**

«Издательские решения»

**Мошков К. В.**

Кривые дорожки. повесть о втором эшелоне / К. В. Мошков —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-741918-9

Я долго был музыкантом, играл на бас-гитаре. Десять лет подряд я участвовал в одной и той же рок-группе, мало кому известной. Но вот ведь штука какая. Второй эшелон живёт не менее (а иногда, может, и более) насыщенной и разнообразной жизнью, чем те, кто известен всем. Горние выси духа, приключения тела, поучительные истории и творческие свершения — всего этого во втором эшелоне полно, и с избытком. Про это здесь и написано...

ISBN 978-5-44-741918-9

© Мошков К. В.  
© Издательские решения

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие                       | 6  |
| Я съезжаю с пути истинного        | 7  |
| Баснословные времена              | 10 |
| Битва за стул                     | 14 |
| Большое Агитпопсовое Путешествие  | 20 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 23 |

**Кривые дорожки**  
**повесть о втором эшелоне**  
**Кирилл Владимирович Мошков**

© Кирилл Владимирович Мошков, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

## Предисловие

*Кроме «звёзд», в любом деле всегда есть «второй эшелон» – люди никому особо не известные, но составляющие основную массу. Они исторически необходимы: они – среда, из которой вырастают звёзды. Естественно, большая часть второго эшелона всю жизнь проводит в неизвестности. Быть может, в каких-нибудь справочниках или энциклопедиях лет через пятнадцать мелькнет твоя фамилия с одним инициалом, и всё.*

*Это нормально. Я долго был музыкантом, играл на бас-гитаре. Десять лет подряд я участвовал в одной и той же рок-группе, мало кому известной. Но вот ведь штука какая. Второй эшелон живёт не менее (а иногда, может, и более) насыщенной и разнообразной жизнью, чем те, кто известен всем. Горные выси духа, приключения тела, поучительные истории и творческие свершения – всего этого во втором эшелоне полно, и с избытком.*

*Про это здесь и написано.*

*Маленькое уточнение. Это не мемуары. Это «художественное произведение», сиречь повесть. События, о которых здесь идет речь, в реальности безусловно произошли, но не всегда там и не всегда в той последовательности, как здесь рассказано. Так что лучше относиться ко всему этому, как к чистому вымыслу. Так будет спокойнее. Поэтому автор в тексте называет себя вымышленным именем – которым в действительности вполне официально рекомендовал себя в эфире во времена работы на независимых (ни от кого ни разу) радиостанциях лихих 90-х годов прошлого века. Собственно, и все действующие лица и даже места действия называются в тексте вымышленными именами и названиями. И если кто себя узнает – это случайное совпадение и не считается. А теперь – с Богом.*

*Ваш АВТОР*

## Я съезжаю с пути истинного

Знакомьтесь, пожалуйста. Вот этот подросток с вечной неуместной ухмылкой – это я. А этот, слева, в свитере и серых брюках, заправленных в сапоги – это Ратц. На самом деле никакой он не Ратц, он Хомяков, но «хомяк» по-немецки – *Ratz* и есть, а мы учимся в немецкой спецшколе («*Mittelstufe mit Erweitertem Deutschunterricht*», средняя школа с расширенным изучением немецкого языка, так это официально называется). Наличие же в организме Хомякова одной восьмой части тевтонской крови закономерно определяет тот факт, что товарищ мой примерно с восьмого класса, то есть с тех пор, как вступил в период подросткового самоосознания, носит арийскую стрижку, одежду строгого вида (желательно, чтобы строгие серые брюки были заправлены в сапоги), плюс то и дело глубокомысленно произносит длинные фразы на языке Гейне.

Кстати, о Гейне. Попробуйте при Ратце произнести эту фамилию. Широкое светлое лицо его омрачается, он поднимает палец и, чётко им помахивая, отдельно произносит:

– Не Генрих Гейне. Нет. Неправильно. Хайнрих Хайнэ! Запомните: по-немецки это произносится – Хайнрих Хайнэ!

Двухнедельная поездка от школы в Лейпциг (Ратц произносит «Ляйпцих») после девятого класса – пик и звёздный час его жизни. По возвращении он ещё примерно месяц смотрит поверх голов и говорит исключительно по-немецки, с отвратительным лейпцигским акцентом, кстати – в самой Германии непроницаемым ни для кого, кроме самих жителей Лейпцига. Накупив в ГДР местных грампластинок, он крепко «задвигается» на том, что именует «нойе дойче Велле» («новая немецкая волна»). Он искренне считает, что именно так называется прогрессивная и лучшая в мире рок-музыка социалистической Германской Демократической Республики – хотя на самом деле так называется вовсе никакая не прогрессивная, а совсем даже реакционная рок-музыка капиталистической Федеративной Республики Германия, но об этом Ратцу почему-то никто не говорит.

Мы с Ратцем сидим за одной партией, но у меня совершенно другие склонности. Я живу (мысленно, понятно) исключительно в Ливерпуле, год у меня постоянно тысяча девятьсот шестьдесят первый, я ношу волосы неопределяемой длины (потому что они выются и никак не опускаются желаемым битловским «шлемом»), зачитываюсь статьями рок-критика Афанасия Двоицкого в журнале «Сверстник» и никогда не застёгиваю форменный школьный пиджак, за что имею неприятностей.

Мы с Ратцем вообще всё время имеем неприятностей. На химии мы сидим на последней парте, для развлечения сливаем все жидкости ящика для опытов в одну колбу, в результате чего из колбы бурно лезет пена, воняет, заливают наши тетради с контрольной за четверть, и мы имеем неприятностей. На литературе мы пишем нашей зловерной Вилке (Виллоре Евгеньевне, то есть) сочинение про то, что Базаров – первый настоящий панк, нас вызывают на педсовет и громят цитатами из свежего выступления К. У. Зерненко на июньском пленуме ЦК КПСС по идеологии, и мы имеем неприятностей.

Виллора наша Евгеньевна (имечко её сложным, почти магическим образом составлено из кусочков заклинания тёмной магии «*Владимир Ильич Ленин и Октябрьская революция*») вообще нас недолюбливает, но не может связно объяснить, почему. Мы просто вызываем у неё глухое раздражение, регулярно прорывающееся острыми приступами ненависти, желательно – публичными, но, как правило, малосодержательными. Неприятностей у неё мы имеем все время.

После уроков мы через пол-Столицы тащимся ко мне на Забыловский или к Ратцу на Заводный, и там до одурения играем его и мои самодельные песни на гитарах производства деревни Пыхово Двоенцовского района. Моя гитара – светлой расцветки, звонкая, пахнет

мебельным клеем и вся – посредством тонкого фломастера – исписана ранними стихами Маяковского. Ратцева гитара тёмная, глуховатая, с чёрным грифом, на котором у пятнадцатого лада красным лаком для ногтей написано загадочное: *ВИА «Лончель»*.

Результаты мы записываем (стерео!) на кассетный магнитофон второго класса «Весна-211». Одна из этих кассет жива до сих пор, но слушать её без содрогания невозможно, да и не нужно.

Летом следующего года жизнь нас разносит в разные стороны – меня в Универ, Ратца в Авиаторский. В следующий раз мы встретимся только лет через пять.

В Универе я остро чувствую свою особенность. Вся моя группа – двадцать человек – либо рабфакеры-стажники, лет на десять старше меня, либо мажорные-размажорные девочки в густом, по моде тех времён, радужной расцветки макияже на лице и розовых «бананах» (это такие брюки) на толстых попах. Один я брожу по Универу в незабываемой коричневой куртке из югославского кожзаменителя.

Быстро находится и способ свою «особенность» усугубить – то, что называлось тогда «студенческая научная работа». После первой же сессии выясняется, что мой надёжно подвешенный язык (абсолютно без костей, но достаточно длинный и мускулистый) позволяет без лишнего напряжения получать на экзаменах пятёрки, пока рабфакеры натужно кряхтят над шпаргалками, которые писали всю ночь, но не могут прочитать, а мажорные девочки плачут в коридоре над зачётками, капая комковатой польской тушью с ресниц на розовые «бананы». Восхищенные моей болтливостью, преподавательницы преклонных годов ведут меня под белы руки в Научное Студенческое Общество, я представляю туда три странички про то, как (согласно прочитанным мной первоисточникам) буржуазная массовая информация формировала популярность рок-музыки, и меня снисходительно хлопают по плечу очкастые зубры-пятикурсники, советуя, для проходимость работы, полить её марксизмом-ленинизмом. Я, скрепя сердце, поливаю – и в результате делаю из трёх страничек, для своего удовольствия написанных, две курсовые работы подряд, и с одной из них даже еду в город Невоград на Научную Студенческую Конференцию в Невоградском Государственном Университете им. О. О. Зданова, где выступаю на секции «Зарубежная печать». Местный завкафедрой вякает было, что сама тема работы представляется ему довольно сомнительной, но я радостно, осиянный авторитетом **нашего** завкафедрой (куда более известного в соответствующих кругах, и при этом «прогрессивного»), раскладываю ретрограда в пух и прах и получаю диплом за лучший доклад. Очень красивый диплом, глянцевый, толстый, с портретом Вождя Революции... После доклада ко мне в коридоре украдкой подходят местные аспиранты, бледные и зашуганные, торопливо жмут мне руки и шепчут:

– Старик... Спасибо... Как ты его уделал...

А вечером в общаге я попадаю на квартирник (то есть общажник) двух суперзвёзд Невоградского Рока; так что, когда месяц спустя они впервые играют в Столице с электрическим составом (кстати, тоже в университетской общаге), я гордо стою среди подобных мне двух-трёх особенных и цежу сквозь зубы:

– Ну, эта вещь в акустике слушалась лучше...

Двое особенных – это Концов и Корнаков, мои не то чтобы друзья, а как бы такие же, как я, и не такие, как все, что заставляет нас держаться вместе. Ещё есть Мандрата, он как бы идеолог компании Концова и Корнакова, пишет безумные стихи под явным влиянием невоградца Грибощенко, что по тем временам остросовременно и супермодно. Настоящая фамилия Мандраты – Пекарь, что нам кажется невероятно крутым и заставляет сделать его фамилию названием нашей свежесозданной рок-группы.

Это Время Луны, время Новой Волны, вся старая музыка рухнула и погребена, с Запада доносится неслыханное, музыкальный критик молодёжных журналов Афанасий Двоицкий вос-

певаёт невиданное; уже четыре года где-то там, за изгибом земной тверди, работает музыкальный телеканал MTV, а мы, не подозревая о существовании рок-видео, изучаем стилистику Новой Волны по чёрно-белым фотографиям западных звёзд на тонкой бумаге польских журналов и по некачественным записям на вечно скрипящих от некачественной сборки аудиокассетах производства Германской Демократической Республики. Мы репетируем в Синеграде, городе-спутнике в сорока километрах от Столицы, куда ходит 400-й автобус – очереди на него у последней станции метро страшные, но можно ехать стоя, без очереди, всего за 15 копеек. Наша «база» – актовъй зал в пустой, по-летнему гулкой школе, кошмарная ударная установка с одной гнutoй и треснувшей тарелкой, три пятнадцативаттных усилителя с гавкающим названием VEF – в один втыкается микрофон, в другой – вечно нестроящая гитара болгарского производства, на которой бренчит Концов, в третий – моя бас-гитара Musima De Luxe 25B, которую сделали суровые немецкие коммунисты в Германской Демократической Республике, а я, сэкономив деньги от всего, что у меня только было, купил в легендарном столичном магазине «Созвучие» за 240 полновесных советских рублей.

Мы разрываемся от желания играть энергично и в то же время «новую волну» – мы знаем твёрдо, что прежнему року пришел окончательный и бесповоротный конец, и «новая волна» – последнее слово культурного развития целого мира, об этом написано критиком Афанасием Двоицким в журнале «Сверстник», а значит – так оно и есть. Вся беда в том, что из статьи Двоицкого «Рок Новой волны» мы знаем названия всех нью-вейвовых групп, но вот послушать удается немного, и всё какое-то не то. По идеологическим соображениям мы знаем, что «многое в панке дико, уродливо и абсолютно неприемлемо» (А. К. Двоицкий), но при этом субъективно нам больше всех нравятся именно панки в лице *Sex Pistols* – за счет немереной своей энергетики. Но тут ещё морочит голову двоицкое же учение об абсолютной самобытности Русского Рока... Короче, мы играем очень быстрые песни в мажоре (с легкими отклонениями в параллельный минор) с долбящей ритм-секцией (иного, кроме как долбить – бум-цы-ДЫЩ, бу-бум-цы-ДЫЩ-цы – она делать и не умеет) и полосующей полунастроенной гитарой, а Корнаков, получивший в группе кличку Поль Гнедых (по хитроумному персонажу Стругацких), сырым и мощным голосом орёт:

*Мы топчемся на месте и говорим о буднях,  
Мечтая о «фieste» и безопасных тулях,  
Мы падаем на камни и стонем от досады  
И топчут нас ногами друзья из Невограда.*

«Фiesta» – это такой прохладительный напиток, продававшийся в те годы. Вставлять в тексты песен названия всем знакомых предметов – прогрессивно и модно. Никто не думает, что через каких-нибудь тридцать лет никто не будет помнить этих предметов и этих названий. Важно Соответствовать, и мы Соответствуем. Этой песней мы гордимся. Это наш боевой гимн.

## Баснословные времена

Время было тревожное, только что запретили водку. Позже, из книг, я узнал, что лето 1985 года было временем тотального запрета всего столичного рока и что за весь тот год в Столице и области не состоялось ни одного настоящего рок-концерта... Ну, не знаю! Наш первый концерт состоялся именно тем летом, и это был САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ рок-концерт!

Короче, мы играли в деревне Жидкая Грязь, что между Столицей и Синеградом. Деревня историческая во всех смыслах. В середине XVIII века её увековечил в бессмертной книге «Путешествие из Невопограда в Столицу» небезызвестный Алексей Пинищев, впоследствии за это строго наказанный великою царицей. Не за Жидкую, конечно, Грязь, а за книгу. Два с лишним века спустя здесь, в деревянном сельском клубе, выступала – второй в сборном концерте из трёх самодеятельных рок-групп – молодая столично-синеградская банда «Пекарь». Это, то есть, мы.

Названия коллектива, игравшего в тот день первым, история не сохранила. Состоял он из гитариста и басиста, в унисон оравших собственные песни туманного содержания. Запомнилась мне только одна строчка:

*– А трактор всё пашет, он тоже устал...*

Вторыми играли мы. Не помню уж, почему мы приехали без собственных гитар – в те годы у полуподпольной рок-самодеятельности (вроде нас) практиковалось играть в сборных концертах на чужих инструментах, ничего зазорного в этом не было, так как и техника игры у большинства была одинаково ужасна, и подход к настройке инструментов был, мягко говоря, совсем нестрогим. Видимо, у Концова была какая-то договорённость с первым дуэтом – они оставили нам свои гитары, сами сели в зал, а мы – подлаживаясь на ходу к чужим кривым грифам – заиграли.

В зале, кроме умеренно-серой местной молодёжной публики, присутствовало ещё и человек семь-десять синеградских панков, людей забубённых и стойких. Они завывали, услышав наш довольно громкий чёс, а тут ещё Корнаков, взмахивая длинной чёлкой, завопил:

*Ты приводишь в смятенье моих друзей  
Ты говоришь, что я болван и ротозей,  
Что я прозевал свой шанс, и теперь я – ноль,  
Что мое время сжигает алкогольная боль,  
Но я не верю тебе и твоим словам,  
Ты постоянно врёшь мне, ты так слаба,  
Ты просишь меня не петь и не ныть  
И не думать о принце – «быть или не быть»,  
Но я знаю – ты хочешь быть со мной! [повторить три раза для  
убедительности]*

Здесь следовала пауза перед вторым куплетом, и аккурат в этой паузе в зал вбежал встрепанный человек и крикнул:

– Шухер! Менты!

И во все щели, во все отверстия хлынули люди в сером.

Бросив на сцену чужую чешскую чёрную бас-гитару, я вслед за нашим шустрим вокалистом кинулся за сцену, а там – в окно, благо клуб был одноэтажный. Нам никак нельзя было попадаться: мы очень дорожили студенческими билетами. Настолько дорожили, что в группе

нас знали исключительно по прозвищам. Мы справедливо опасались стукачей в своих рядах, так как своими глазами видели, как с нашего факультета выгоняют студентов по пришествии в партком «телеги» из компетентных органов. Концову-то что, у него папа в горьком правящей партии, а нам не отвертеться, если что.

Зашуганные, мы с Полем часа полтора бегали по лесу, прилегающему к Невоградскому шоссе, и в результате потеряли направление на Столицу. За каждым кустом в наступавших сумерках нам мерещился милицейский китель, и спас нас только простой развесёлый водитель совхозного молоковоза, за пятёрку доведший до метро «Самолётная» (до «Северной Пристани» мы ехать побоялись из конспирации, нам там чудилась засада).

Недели две мы ждали повесток в почтовые ящики, но не дождались: гитарист Концов свинчен не был, отсидевшись за сценой в каком-то чулане со швабрами, а честного пролетарского происхождения барабанщик и клавишник свинчены были, нас честно заложили, но вся фишка была в том, что они не знали наших настоящих имён! Сколько кровавая охранка ни искала по Столице неких Поля Гнедых и Филиппа Пулкова – наверное, не нашла. Надеюсь.

Так или иначе, барабанщика и клавишника мы поменяли, и дело с концом. Гитариста тоже пришлось поменять. Концов начал утомлять унаследованным от папы звериным антисемитизмом. Выпив, он с пулеметной скоростью начинал склонять по матушке весь мировой сионизм и жидов, продавших Россию, начиная от жида Пушкина и кончая жидом Солженицыным. Поскольку он ещё и не умел играть, а учиться не хотел – был уволен. Ну, то есть, это мы знали, что он уволен. Мы просто перестали ему звонить.

Новая наша база была в кинобудке школы, имевшей место в столичном микрорайоне со звучным именем Кобылино-Пыжиково. Там аппаратура была куда круче, чем в Синеграде: «ЭСКО-100» (эстетически кошмарное с виду, зато стоваттное по содержанию устройство непобедимого человеческими силами уральского оборонного производства – туда втыкались гитара и микрофон) и здоровенный чёрный деревянный ящик под названием «ФОРМАНТА», куда втыкались одновременно моя восточно-германская бас-гитара и клавишное чудо отечественной техники, синтезатор под названием «АЛИСА» (к названию соответствующей рок-группы никакого отношения не имеет).

Наш новый барабанщик был столь крут, что привозил с собой на репетиции собственный малый (тогда говорили – «рабочий») барабан. Ему было двадцать три, и он казался нам ветераном – до нас он успел поиграть в двух самостоятельных хард-роковых составах. Его квартира произвела на нас неизгладимое впечатление. Убранство жилой комнаты состояло из дивана, ударной установки, магнитофона и десятков *настоящих* иностранных плакатов-постеров со всякими модными музыкальными людьми. Нам казалось, что это невероятно круто и модно.

Месяц мы порепетировали после того, как нас недовинтили в Жидкой Грязи – и выступили прямо на базе, в пыжиковской школе. В зале было два старших класса, то есть человек пятьдесят подростков обою полу в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет, не весьма осмысленно и с редким неуверенным гоготом тарачившихся на нас, и человек шесть героических синеградских панков, из-за винта недосмотревших нас в прошлый раз. Их тогда, впрочем, из-за нас всё-таки «повинтили», но им было не привыкать: панку, как говорили добрые люди, в каталажке переночевать, что высморкаться. Мы бодро оттарыхтели имевшиеся в наличии десять песен собственного корнаковского сочинения. Я гнул, как западные музыканты гнутся на мутных чёрно-белых фотографиях, Поль сексуально взмахивал гитарой, чем привёл-таки в восторг местных старшекласниц, а барабанщик с клавишником мрачно кивали в такт головами в чёрных «нововолновых» очках.

Когда мы приступили к своему главному хиту, в зал неторопливо вошла группа пожилых женщин в тёмных глухих платьях – директор, завуч, парторг, профорг, завхоз... На шумок заглянули. С каменными лицами они наблюдали, как панки на первом ряду «тащатся», что выражается у них обычно рёвом, свистом и маханием конечностями. А Поль тем временем вопил:

*Чёрные очки на переносице ничьей  
Нежные цветы боятся солнечных лучей,  
Тёмное стекло на беззащитные глаза,  
Небо голубое – каждый хочет облизать,  
Голову кладу на истомлённый тротуар,  
Крикнул, но наяда превратилась в писсуар.  
Мои кроссовки чище, чем мысли и слова,  
Девочка моя умна, как белая сова,  
Лессинга читала, и Прудона, и других,  
Ночью утопая в переплётах дорогих.  
Я давно не верю слишком чистым небесам,  
Близким и любимым – до всего дойду я сам.*

Как на грех, перед концертом нам удалось выстроить максимально разборчивый звук, и все слова было слышно (что далеко не всегда было правилом в те годы).

Ну и что, спросите вы. Текст как текст, вполне бессмысленный и корявый – то ли о любви, то ли о подростковой неудовлетворённости миром. Правильно! Просто мероприятие было заявлено как «концерт ко Дню Учителя». Естественно, тексты песен не надо было «литовать», то есть носить на предмет цензуры в Соответствующий Орган, так как концерт проходил в школе, а не в ДК («доме культуры») или ДКШ («доме комсомольца и школьника»); но некие тексты мы должны были до концерта показать завучу школы, что Поль и сделал – там был «Школьный вальс», «Учительница первая моя» и прочие милые вещицы.

То, что мы пели, не тянуло на милые вещицы. По выражению лиц школьных дам я понял, что им *очень* не нравится то, что мы поём. Внезапно накотившее вдохновение сорвало меня с места, и я принялся скакать, выделявая крайне странные движения. Боюсь, что даже за очень большой денежный гонорар я теперь не смог бы их повторить. Поль изумлённо глянул на меня, глаза его заволокло рокенрольной смурью, и он – стодевяностосантиметровый, здоровенный – махнул гитарой и кометой понёсся по сцене наперерез мне. Песня, собственно, закончилась, а как запилить соло, Поль не знал – мы просто продолжали играть аккомпанемент, но очень, очень громко и яростно, насколько это было возможно при наших тогдашних музыкальных умениях. К чести барабанщика и клавишника сказать – они при столь неожиданной смене сценария не остановились, не перестали играть, а клавишник даже принялся слегка приплясывать. Панки вскочили и кинулись биться головами о сцену. Вскочил также один школьник, но сзади, из кучки школьных дам, раздался окрик, и смелый подросток сел обратно. Нашего запала хватило примерно на минуту, но за эту минуту панки продемонстрировали почти всё, что тогда было верхом смелости поведения на рок-концерте. О таких вещах, как *слэм*, еже сказуемое массовое пихание перед сценой, и *стейджидайвинг*, сиречь прыгание со сцены в толпу вниз головой, тогда в наших краях ещё не слыхивали – но биться головой о сцену, прыгать перед сценой очумелым козлом, интенсивно махать руками и оглушительно реветь «о-о-о-о-о-о» и «а-а-а-а-а-а-а» любой уважающий себя панк или металлист умел на твёрдые пять баллов.

Когда стих рёв «фидбэка» от затихшей гитары Поля и запоздалое «а-а-а-а-а-а-а» самого отчаянного из синеградских гостей, в наступившей тишине раздался голос одной из школьных дам:

– Похоже на идеологическую провокацию. Вызывайте милицию, Анна Игоревна.

Панки кинулись в дверь напролом, мягко, но убедительно распихав школьных дам в стороны. Дамы даже охнуть не успели. Мы спокойно собрали вещи и вышли следом, бросив включённую аппаратуру на сцене – она же всё равно была не наша, а школьная; старшеклассницы проводили нас томными взглядами, старшеклассники частью неуверенно гоготали, частью смотрели нам вслед со смутной завистью.

Когда мы садились в автобус напротив школы, в школьный двор въехал жёлто-голубой «ментовоз». Вызвали-таки!

Больше мы в Кобылино-Пыжиково не репетировали.

## Битва за стул

Минуло два года.

Теперь «мы» – это уже не «Пекарь», «Пекарь» давно завершился. Мы – это «Конкретный Ужас», музыкальный коллектив (или, как в те годы принято было уточнять, «самодеятельная рок-группа»), созданный самым странным способом. В один прекрасный солнечный день я вернулся на гражданку из рядов Вооружённых Сил СССР, чувствуя себя слегка отсталым: пока отдавал пренатальные долги жадной и подозрительной Родине, в стране бурно началась так называемая перестройка, молодёжь немедленно и с удовольствием принялась ниспровергать основы, и я из «особенного» и «не такого» превратился в одного из многих, далеко не оригинального. На второй день после возвращения я принялся искать новую идентичность.

Собственно, искать её я начал на старом месте, то есть на универском факультете, хотя восстанавливаться в студенчестве пока не собирался, по крайней мере – до начала следующего учебного года. На факультет я явился в позапрошлогодних обноскох, не успев сделать ничего, кроме как выручить из военкомата свой паспорт. Передвигаться без гражданского документа стриженному по-армейски юнцу в Столице, где по серым асфальтовым просторам через каждые пятьсот метров с лениво-бдительным видом барражировали военные патрули, было довольно стрёмно.

Конечно, я не думал возвратиться на пепелище «Пекаря»: Корнаков уже занимался совершенно другой музыкой – настолько другой, что бросил гитару и стал осваивать саксофон. Это я знал из писем, но мне нужно было живое общение. И я получил его.

Первым на меня наскочил Джон Велосипед, говорливый и жизнерадостный очкарик из Сибири, который сильно поддерживал меня письмами в период воинских моих приключений. Будучи старше, он загремел «в ряды» до меня и письменно делился разнообразным полезнейшим опытом, и его дембель опередил мой всего на полгода.

Джон буквально упал на меня с лестницы, перепрыгнув ступенек семь.

– Все, Волков, мы берём тебя в группу, – были его первые слова.

Я открыл было рот, пытаюсь узнать хотя бы, в какую группу меня берут и зачем, но тут Велосипед живо поволок меня в противоположный конец длинного факультетского коридора – от той лестницы, в пролёт которой в 1967 г. бросалась от несчастной любви студентка из Монголии, каковую студентку, явившую неожиданно цепкий хват и степную волю к жизни, потом долго пытались отцепить от перил этажом ниже, и до той лестницы, где стояли, выпятив гордые стальные груди, автоматы с газировкой: три копейки – обогащённая углекислым газом водопроводная вода с сиропом (можно выбрать из двух сиропов, но на деле выливается всё равно один и тот же), одна копейка – она же без сиропа, но это только если едешь с физкультуры (она у нас была в другом конце города) и очень хочется пить: уж больно вода «за копейку» воняет водопроводной хлоркой.

Со стороны, наверное, этот пробег выглядел странно, ведь вашего покорного слугу в рядах Вооружённых Сил социалистической Родины порядком разносило в диаметре, на крупах-то и на комбижире, – а Джон ростом мне был едва по плечо, и могучей комплекцией похвастаться отнюдь не мог.

Добежав до газировочных автоматов, Джон немедленно сдал меня в руки крупному юноше, сильно выше меня ростом, в очках и с причёской молодого Элвиса Пресли.

– Бодров, это наш новый басист, – услышал я.

– Джон... – начал было я, но Бодров жестом фокусника выдернул из-за спины, как самурайский меч, акустическую гитару и протянул её мне, сказав только:

– Покажи.

Инструмент я держал в руках второй раз за год. Первый раз был вчера ночью, когда я добрался домой с вокзала, и... ну, не вдохновил.

Я провёл по струнам сверху вниз. Невероятно, но гитара была прилично настроена. Это была «невоградская» гитара, продававшаяся в лучших музыкальных магазинах Столицы не за шестнадцать, как дубовые гитарки производство деревни Пыхово Двоенцовского района Столичной области, а за целых семьдесят семь рублей: чудо отечественного инструментального парка. Я сыграл один (1) квадрат восходящего буги остинато и остановился. Бодров тут же забрал у меня гитару, сказав только:

– Кайф.

Так я стал членом «Большого Символического Оркестра», который просуществовал ровно месяц и дал ровно два концерта: перед какими-то чудилами в городском аэроклубе и перед модным юношеством в «Молоке», оно же «Клуб у Фонтана» – молодёжном заведении в Чемпионской Деревне. Ни чудилам, ни модникам «Б. С. О.» был нафиг не интересен, спасибо что овощами не закидали, но в моих воспалённых глазах всё это почудилось Настоящим Возвращением Обратно На Рок-Сцену.

По большому счету, «Б. С. О.» был обречён с момента создания. Джон Велосипед писал грустные мягкие песенки, лучшие из которых трогали за душу, остальные же хотелось напевать, сложив губки бантиком. Его звуковой идеалом на тот момент была битловская песня «*Fool On The Hill*», и к этому идеалу он стремился самозабвенно, иногда – до глухариного тока. Бодров же, напротив, сочинял ехидные, быстрые, иногда глупые, но неизменно энергичные рок-н-роллы. Я же просто ничего не делал, так как басистом не был, строго говоря, никаким, да ещё и в армии дисквалифицировался, а казавшиеся всего два года назад столь крутыми три написанные мной для «Пекаря» песенки, в условиях внезапно наступившего на меня Нового Времени, оказались конкретным ужасом. Только три года спустя я одну из них – с неожиданным успехом – решился спеть.

Так что ни я, ни Бодров не удивились, когда Джон вдруг женился, перестал петь и вообще пропал с горизонта.

Было 19 мая 1987 года. Впоследствии мы эту дату канонизировали, так что я её точно знаю. Кинорежиссёр Матвей Скворцов в этот день снимал в Парке горького имени Отдыха финал фильма «Уйя-а», тот самый героический финал, с поющим вокалистом группы «Вино» Виталием Цзянем и орущими толпами. Съёмка назначена была на сумерки: кинорежиссёру нужен был «режим», когда солнце заходит, загораются огоньки, а на малочувствительной к свету отечественной киноплёнке эта сумеречная освещённость кажется глубокою ночью. Но толпы желавших приобщиться сползались в Парк горького имени Отдыха едва ли не с утра. По тем временам не нужно было рекламы, нужно было просто сказать кому надо сладкое слово «халява» и назвать адрес. Слово сказали, адрес назвали, день был тёплый, без дождя, и в парк горького имени Отдыха пришло сто тысяч человек модной прогрессивной молодёжи. Я не преувеличиваю. Сто тысяч человек.

Мы видели, как толпа модной прогрессивной молодёжи порвала, словно резинку от кальсон, мощный запор на стальных воротах Зелёного театра, и как ворота распахнулись, описав математически ровный полукруг оседлавшим их майором милиции, который безуспешно пытался отогнать от ворот толпу своим маломощным мегафоном и какой-то матерью. Нас внесло внутрь вместе с потоком модной прогрессивной молодёжи, и мы сели где-то в районе третьего яруса Зелёного театра. Тогда сквозь его скамейки ещё не росли берёзы и орешник.

Последовало длинное действие, концерт нескольких столичных групп – ждали сумерек, которые требовались для киносъёмки. Только когда начало темнеть, состоялись зафиксированные для истории как символ всего этого безумного времени Цзянь и орущая толпа. Только

не верьте тому, что там показано в фильме! Цзянь, крепко держа себя за локоток, в героической позе стоял под фонограмму, игравшую вполголоса (ни одного слова услышать было нельзя, и вплоть до премьеры фильма «Уйя-а» у нас сохранялось стойкое убеждение, что в припеве он пел не «Пе-ре-мен!», а что-то вроде «Бей-лей? Нет!» – нам это показалось крутой идеей!), над толпой летел трагический крик режиссёра Матвея Скворцова: «Ребята, НЕ ЖГИТЕ СПИЧКИ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ!!!», а вся огромная масса народа дружно орала:

– Ла-а-а-жа! ЦЗЯНЬ ПРОДАЛСЯ И ПОЁТ ПОД ФАНЕРУ!

Бодров, глядя на безобразия, довольно приговаривал:

*– И пошла кровь из носу  
в мире шоу-бизнесу!*

Меня же обуревала мысль, которой я беспрерывно делился с соседями: каков же пройдох то. Скворцов, собрал такую массу народа на халяву – вместо того, чтобы честно заплатить массовке по трюльнику на нос, как это полагается по существующему законодательству!

А когда весь этот праздник окончился, мы, находясь довольно близко от одного из выходов из Зелёного театра, очень быстро побежали, чтобы успеть выбраться из парка и подбежать к метро раньше всей этой стотысячной толпы. Дорожки Парка горького имени Отдыха были, как заборами, огорожены плотными шеренгами дружинников-пэтэушников: видимо, пока шла съёмка, начальство спохватилось и приняло меры к недопущению дальнейшего безобразия, вплоть до расползания толпы в кусты парка по половому признаку. Все ускоряя шаг, я временами возбужденно-радостно покрикивал дружинникам:

– Р-равняйся! Смир-рна-а!

Поскольку ефрейторский голос у меня ещё не совсем выветрился, некоторые дружинники рефлекторно подергивали головами налево- прямо.

Тут Бодров и сказал:

– Старичок, я собираюсь делать свою группу. Поможешь мне на басу?

Слова эти и сейчас звучат у меня в ушах, а вот что я ответил – не помню. Наверное, что-то положительное, иначе почему бы мы действительно стали играть вместе?

Это была странная группа. Первые месяца два мы вообще не встречались лицом к лицу, но каждый Божий день созванивались по три-четыре раза в сутки. Учитывая, что я ещё вел активную личную жизнь, телефон у меня вообще никогда не остывал.

Дело в том, что я жил почти в центре – на Прыговой, а Бодров – в отдалённом районе Парадное. Между этими столичными районами – примерно тринадцать километров по прямой (по улицам больше, прямой дороги нет). Тогда в Парадном ещё не было метро, и поездка туда, на трёх перекладных, была серьёзным поступком, вроде Бодровольного коммунистического субботника: хочешь, не хочешь, а часа три-четыре отдай дяде.

Поэтому мы репетировали по телефону. Бодров пел мне песни под гитару в телефон, и Бог ты мой, как же круто, мощно, энергично, *совершенно* они слышались в чёрной бакелитовой трубке моего старенького (ещё с буквами на диске) телефонного аппарата! Никогда в жизни, ни при каких аранжировках, музыкантах и аппаратуре, не удавалось нам сыграть всё это столь же классно или хотя бы приблизиться к этому телефонному совершенству, слышал которое я один (да, может, ещё тот безвестный лейтенант Откуда Надо, который в порядке выборочного контроля походя переключался на нашу линию). Потом мы начинали делать аранжировку, то есть подбирать партию баса. Делалось это так: Бодров играл гармоническую сетку (то есть аккорды песни), прижав к уху трубку плечом; я же, точно таким же образом прижимаясь к трубке, ещё и натягивал что есть силы шнур, ведущий от трубки к аппарату. Слава Богу, был он прямой, а не витой, как у более поздних моделей! Зачем надо было его натягивать?

А вот зачем: он касался обратной стороны грифа моей бас-гитары, я дёргал за струны, механический резонанс через натянутый шнур проникал в микрофон трубки, и мы оба – и Бодров, и я – отлично слышали в телефоне оба инструмента: и его гитару, и мой бас!

Таким образом – по телефону – мы довольно быстро сделали репертуар объёмом песен в тридцать-сорок. Таким же образом мы нашли и название для группы: я по телефону зачитывал Бодрову бесконечный, позиций из ста, список разных бессмысленных сочетаний из двух-трёх слов (однословные названия мы отвергали принципиально, как не крутые). В этом списке месте эдак на сороковом мелькнуло сочетание «Конкретный Ужас». Выслушав ещё два или три, Бодров сказал: «Стоп! Отмотай назад...» Так мы обрели имя.

Нужен был по крайней мере ещё барабанщик. А это означало, что пора от виртуальных репетиций переходить к настоящим. И тут во весь рост встала проблема: где?

Барабанщиков со своими барабанами тогда было очень мало, во всяком случае – в нашей возрастной категории. Но это как раз не было проблемой. В старой школе Бодрова хранились его собственные барабаны, на который он играл в своё время в школьной группе, а потом, став там «свободным вокалистом», давал играть новому барабанщику. Но по разным причинам репетировать там, в школе, было нельзя. Барабаны надо было куда-то увозить.

Решая эту проблему, мы с Бодровым как-то совершили Большой Поход По Столице, за обсуждениями пройдя всё Променадное кольцо. Однако места для репетиций от этого не прибавилось.

И вдруг Бодров где-то познакомился с престранным дядькой-кинорежиссёром по фамилии Гарк, который запросто дал нам ключи от бомбоубежища в подвале хрущёвской пятиэтажки у метро «Физкультурная». Гарк собирался было делать там киноклуб, и даже уже оформил все необходимые документы Где Следует, но потом взглянул на помещение, ужаснулся – и тут же стал искать другое. Этим же, столь его напугавшим, он любезно поделился с нами. За бесплатно. О времена! О великие, невозвратные времена!

Ударную установку мы привезли в подвал на такси. Установку составляли мрачно-важно-зелёные, в пластмассовую переливочку, барабаны производства Рижской мебельной фабрики – так, во всяком случае, традиционно расшифровывали советские барабанщики аббревиатуру RMIF, которая на самом деле означала «Рижская фабрика музыкальных инструментов». Советские барабаны бывали вообще только двух типов: «Энгельс» и «Рижские». Рижские были лучше, потому что легче (звучали и те, и другие одинаково плохо). Наш комплект действительно не был тяжёл: Бодров клялся, что однажды после позднего сейшна в школе (которая располагалась в центре, в Заречье) за ночь пешком донес её за плечами до своего дома в Парадном. Я верил: установка действительно ловко увязывалась «одно в другое» и вся вместе весила от силы килограммов пятнадцать.

Подвал поражал воображение. Было там три, нет – четыре комнаты, репетировать из которых можно было только в третьей, потому что звук из неё никуда, кроме соседних комнат, не проникал. Ещё были многочисленные двухэтажные нары. Мы немедленно начали строить на использование этих нар всякие соблазнительные планы, в которых обильно фигурировали потенциальные посетительницы наших будущих репетиций. Правда, я этих планов так и не реализовал; не поручусь за Бодрова, который одно время всерьёз собирался в этом бомбоубежище просто-таки пожить какое-то время. Нар не было только в третьей комнате, судя по обилию старых картонных плакатов про гражданскую оборону – служившей для бомбоубежища и его планировавшихся обитателей «красным уголком». Ещё был сносно чистый туалет, тусклые лампочки, розетка для втыкания усилителя (даже страшно вспомнить этот усилитель!), какие-то лопаты, а поверх всего – массивные трубы принудительной вентиляции. Вентиляцию, правда, мы включали только перед началом репетиции, примерно минут на пять,

потому что была она ужасно шумной. Всё там было, не было только ни единого стула. А как играть музыку без стульев? Это же даже представить себе невозможно.

Недолго думая, мы отправились... конечно, на факультет. Дело в том, что там был ремонт и списывали мебель.

Масса предназначенной к уничтожению мебели стояла на факультете под парадной лестницей: преобладали старые столы, крашенные жёлтой масляной краской, почти незаметной под густым слоем наскальных граффити, художественно выполненных шариковыми ручками. В глаза мне бросилась следующая надпись:

*Мы ждали, и час величайший настал,  
Но свистнула пуля, и друг наш упал.  
Поднимутся новые наши ряды  
И мы не забудем его никогда!*

Ниже имел место критический отзыв – столь же бессмысленный и неумелый, как и вся художественная критика тех лет:

*Если берется бездарь за перо  
То получается белибердо*

Стул тоже бросился в глаза сразу – высокий, массивный, с длинной спинкой и протёртым кожаным сиденьем; сделанный из потемневшего от времени массивного дуба, он напоминал о старых фильмах с Михаилом Жаровым, о сталинских наркомах, шелестящих ЗИСах и шевитовых костюмах. Порядка ради мы спросили случившегося поблизости завхоза:

– Дядь Миш, можно мы стул возьмём?

Дядь Миш только кивнул. Радостные, мы понесли стул к выходу. И тут на нас напала Абсолютная Вахтёрша.

Не знаю, почему именно в старом здании Универа так долго, вплоть до последних лет перестройки, вахтёрами держали исключительно сумасшедших. Обычай, видно, был такой. Все они были кривые, косые, безумные – но тихие и безобидные. Кроме Неё. Про Неё рассказывали легенды: как Она сломала палец на ноге студентке, которая бесчинно и вызывающе закурила в нижнем вестибюле; как Она, за что-то обозлившись на почтальона, выхватила у него из рук и порвала в мелкую хряпу пакет, содержавший приглашение нашему декану в США на научную конференцию; как Она запирала в аудиториях задержавшихся вечерников вместе с преподавателями... Теперь Она увидела стул, сделала стойку – и кинулась.

– Бодров! – заорал я, безуспешно отбиваясь. – Беги!

И Бодров, прижимая к груди стул, побежал. Поставив стул внизу, у выхода, он повернулся было, чтобы бежать назад и спасти меня. И тут я одержал самую крупную боевую победу в своей жизни.

Я обернулся к Абсолютной Вахтёрше. Ростом мне примерно по пояс, она была шире меня раза в три и неимоверно сильна. Одна из стальных её рук держала меня за куртку, другая – за носимый мною вместо сумки офицерский планшет. Серо-стальные круглые глаза Вахтёрши были вдохновенно безумны. Кругом осторожно раздвигались студенты: все знали, что уж если Она сделала стойку, то лучше всего просто обойти её за километр и потом всю пару рассказывать девочкам, что «охренелая крокодилаха внизу опять бушевала». А девочки будут делать круглые глазки и говорить «ой».

Итак, я обернулся, наклоняясь, чтобы оказаться глазами вровень с Вахтёршей, и тихо, но раздельно сказал ей:

– Бабка. Отпусти.

Нет, она не то чтобы отпустила меня – скорее, подвели стальные её клешни. Та из клешней, что держала меня за куртку, от неожиданности соскользнула. И я рванулся. Увидев, что я отделился от Вахтёрши, Бодров снова подхватил стул и выбежал на улицу. Хлопнув огромной факультетской дверью, я выбежал за ним. Стул был наш.

Лет десять с тех пор я носил вместо портфеля тот самый офицерский кожаный планшет, который замполит роты подарил мне на дембель за то, что я написал за него дипломную работу для какого-то заочного института замполитики. Именно этот планшет был на мне день Битвы за Стул. И до сих пор на нём нет короткого заднего ремешка: он остался в левой, так и не разжавшейся клешне Абсолютной Вахтёрши.

## Большое Агитпопсовое Путешествие

Была весна самого романтического года перестройки, в каждой сфере жизни расцветала небывалая новизна, сердце ждало чего-нибудь невероятного – вроде прилёта инопланетян, а главное – в Столице наконец-то перестали всерьёз «винтить» представителей молодого поколения как «за внешний вид», так и за политический стёб (зачастую переплетавшиеся), хотя по инерции нам все ещё пограживали пальцем. Я написал по этому поводу поэму, которая начиналась так:

*Апрель. Третий год перестройки.  
Великая наша страна  
Шагает уверенно, держится стойко  
и меньше в ней стало говна.*

Немногочисленных слушателей поэмы особенно впечатлял финал:

*Довольно мы, блин, воевали,  
Давайте теперь торговать.  
А если не станете, подлые твари  
Уж будет вам, \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*/i>*

Самодельная рок-группа «Конкретный Ужас», откликаясь на злобу политического дня, выработала собственный кодекс отношения к жизни и творчеству, каковой кодекс получил наименование «Закон Агитпопса». Агитпопс (от «агитпроп + попс») – это было наше всё. Каждый из нас был агитпопс, походка у нас была исключительно агитпопсовая, агитпопсовыми были прикиды (сиречь одежда), да и поведение наше в быту было совершенно агитпопсовым. Это в меньшей степени касалось нашего барабанщика Митеньки Туманяна, поскольку он всё же больше интересовался учёбой и зачётами; мы же приходили на факультет не раньше второй пары и, дождавшись друг друга у входа (или, если было холодно – внутри, «под часами»), шли «тусовадзе» в одно из ближайших агитпопсовых заведений.

Самое ближайшее, всего в пяти минутах неспешной ходьбы, называлось в народе «Гриль»: там подавали жареных кур, которых можно было есть только стоя у узеньких столиков-полочек вдоль стен.

Как-то раз один наш странный софакультетчик купил там полкурицы, но сразу есть почему-то не стал, а вышел на улицу – покурить. Тем временем в «Гриль» забежала большая, пожилая и добродушная уличная собака... и увидела свисающую с края стола курью ногу. Мы молча смотрели, ожидая, что будет. Псина человеческими глазами уставилась на ногу, гипнотизируя. Подошла. Приподнялась, нюхая. Ухватила за косточку. И тут вся половинка курицы, которую за краем стола не было видно, скользнула по залитой жирной подливкой тарелке и обрушилась псине на голову. Жалобно полугавкнув-полувзвизгнув, собака бросила коварную курятину и с неожиданной для своего почтенного возраста прытью вылетела на улицу. Курятина, естественно, осталась лежать на полу. Посетители – и мы, естественно, тоже, мы ведь ещё и ближе всех стояли – зашлись трудно сдерживаемым хохотом. И тут вошел хозяин курятины, наш софакультетчик, человек длинноволосый, длинноносый и странный, приехавший из далёкого южного Будённовграда, чтобы организовать в Столице рок-группу – пусть даже для этого потребовалось с целью легализации в Столице поступить в Универ и худо-бедно учиться там уже третий год подряд.

Ещё от дверей он увидел свою курицу, валяющуюся на полу. Невыразимая гамма чувств отразилась на его нервном лице. Он медленно поднял глаза от курицы к нам.

Мы перестали ржать. Никогда ещё – ни до, ни после – я не видел на человеческой физиономии такого мимически ясно выраженного кроткого упрёка!

Так и не сказав ни слова, софакультетчик вышел из «Гриля» – и впредь встал в факультетском рок-движении в рьяную к нам оппозицию. Что бы ни решалось: кто поедет на общеуниверситетский смотр, кто будет играть на новогоднем вечере, кому достанутся полусгнившие усилители прежней факультетской агитбригады – нервный софакультетчик всегда делал всё возможное и особенно невозможное, чтобы решение не было в пользу «Конкретного Ужаса». Не мог он простить нам, что мы подло швырнули на немывтый пол «Гриля» его жареную курицу.

Кроме «Гриля», имели место ещё несколько довольно агитпопсовых мест. Было, скажем, «Былое». Название было неформальным: как и все остальные заведения общественного питания третьей категории, не имеющие права претендовать на имя собственное, на вывеске заведение обозначалось просто как «Кафе», но ведь располагалось оно на улице имени автора небезызвестного автобиографического романа «Былое и думы»! В «Былом» бывал недурной кофе и выпечка, и там было сидя, но зато нужно было стоять в очереди, потому что количество сидячих мест не соответствовало количеству желающих приобщиться к выпечке и кофе. Была «Тварь» – официально безымянное кафе при ресторане «Тверь». Там можно было пообедать, но невкусно и дорого. Наконец, был ещё «Пентагон», он же «Капитал»: первое название – за близость к зданию Генерального штаба Вооружённых Сил, второе – за расположение на улице имени авторов одноимённого трактата по политической экономии XIX века. Там было всё уж совсем ужасно: водянистый цикорийевый кофе и пресные песочные пирожные – но зато по чёрно-белому телевизору показывали в больших количествах западные видеоклипы с музыками рок и поп, привозимые на видеокассетах из Польши. Из «настоящей музыки», то есть музыки рок, там было мало чего; в основном – всякая чухня, то есть музыка поп, но мы ведь и такого никогда ещё не видавали.

Теперь с нами постоянно тусовался человек, к факультету не имевший отношения (точнее, однажды безуспешно туда поступавший). Он был младше, но безумней и, следовательно, агитпопсовей в тысячу раз. Светлые глаза навывкате, широкое лицо, пересекаемое выбивающимися наискосок из-под кожаной фуражки длинными блондинистыми прядями – Илья Матросов во всей красе! Он ни на чём пока ещё не умел играть, кроме бубна, и очень плохо (хотя и громко) пел, но обладал невероятной энергетикой, лихо двигался на сцене, умел подбирать из купленного за копейки на процветавшем тогда Смирновском блошином рынке «винтажного» тряпья пятидесятых-шестидесятых годов как сценические, так и повседневно носимые костюмы изумительной агитпопсовости, и вообще был – безумней некуда, так что влился в «Ужас» очень органично.

В тот самый апрель Бодров и Илья подписались делать музыкальное сопровождение для факультетского спектакля на общестолличном фестивале «Студенческая весна». В полном соответствии с веяниями времени это была абсурдистская пьеса восточноевропейского автора Здравомира Дрожека «В открытом море». Надо сказать, постановка была отличная! Ну, конечно, изображавшие на заднем плане кордебалет три девочки вообще никуда не годились, хоть и щеголяли в коротких чёрных рубашечках и чёрных же полупрозрачных колготочках (почти что верх половой смелости по тем временам!), но главные роли отрывались как хотели – а особенно хороши были роли второстепенные, среди которых подлинным бриллиантом сверкнул Почтальон. Скромную реплику «Вы видите эти две скрещённые трубочки?», которой персонаж Дрожека доказывал свою неподкупность и точность («За этими плечами двадцать лет беспорочной службы!»), Почтальон – впоследствии известный радиоведущий – в импровиза-

ционном порядке повторил, с разной интонацией вставляя в каждую фразу диалога, наверное, раз шестьдесят, заставив зал буквально кинуть со смеху. Но дело не в этом.

Спектакль был утром в субботу, часов в одиннадцать. Я пришёл на него одетым по-агит-поповому, что в условиях апреля выражалось в чёрном коротком плаще типа лапсердак, натянутой на самые уши чёрной матерчатой кепке а-ля Эрнст Тельман и перекинутом через плечо том самом офицерском планшете коричневой кожи. Что твой связной Интербригады! Но это был не самый крутой вариант. Зимой, например, я носил тогда солдатскую шинель без хлястика и ремня, конически расширяющуюся книзу – а была она у меня **ОЧЕНЬ** длинная, потому что не моего размера: в рядах вооружённых сил мне досталась не новенькая «дубовая» шинель, а ношенная, уютная, «второго срока». На голову при этом полагалась привезённая из горных районов Средней Азии шапка из меха волосатой горной коровы як. Мех этот торчал во все стороны сантиметров на тридцать, а сзади до середины спины свисал чёрный мохнатый хвост волосатой горной коровы як, так что зимою на улицах от меня шарахались...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.